**Свобода быть. Высокий Замок Станислава Лема.**

**О живом и мертвом**

Существует устойчивое убеждение многих взрослых: если ребенок ломает игрушки, значит, он их исследует. Во всяком случае, именно так объясняют этот довольно частый сюжет детского взросления учебники по педагогике и психологии дошкольного возраста. Мол, ребенку хочется узнать, «что там внутри», как оно там устроено» и т.п.

Но вот опыт детства, о котором рассказывает Станислав Лем.

*«…Я ломал все игрушки. Быть может, наиболее позорным моим поступком была поломка отличнейшей маленькой шарманки, блестящей деревянной коробочки, в которой под стеклышком вертелись золотистые зубчатые колесики, вращающие золотистый же бронзовый валик с иголками, так что возникали хрустальные мелодийки. В середине ночи я встал, видимо решившись заранее, потому что, почти не задумываясь, поднял стеклянную крышечку и напрудонил внутрь. Позже я так и не сумел объяснить обеспокоенным домашним мотивы этого нигилистического акта. Какой-нибудь фрейдист наверняка подыскал бы для меня соответствующий звучный термин. Во всяком случае, о том, что шарманочка умолкла, я сожалел, пожалуй, не менее искренне, чем какой-нибудь извращенный убийца о своей свежей жертве.*

*Увы, это не было действием единичным. У меня был маленький мельник, который, после того как его заводили, вносил мешочек с мукой на верх лестницы, в амбар, спускался за следующим, опять его вносил, и так до бесконечности, потому что сброшенные в амбар мешочки тем временем съезжали на самый низ лестницы. Был у меня водолаз в скафандре, заточенный в пробирку с резиновой мембраной. Когда эту мембрану нажимали, он погружался в воду. Были у меня клюющие птички, вертящиеся карусели, гоночные автомобили, кувыркающиеся куклы – и все это я безжалостно потрошил, извлекая из‑под блестящих красок колесики и пружинки. Волшебный фонарь фирмы Патэ с французским эмалированным петушком на стенке мне пришлось обрабатывать тяжелым молотком, и толстые линзы объектива долго сопротивлялись его ударам. Жил во мне какой‑то бездумный, отвратительный демон разрушения и порчи; не знаю, откуда он взялся, так же как не знаю, что с ним сталось позже».*

Ну, и какое же это исследование - встать посреди ночи и «напрудонить внутрь» чудесно красивой шарманки? Причем совершается эта акция вандализма, подчеркивает Лем, совершенно сознательно, а вовсе не случайно: он делает это, «решившись заранее».

И точно так же ломается множество других заводных игрушек - не тем же самым способом, но столь же решительно и бесповоротно.

При этом ни на какое «почему ты это сделал?» ребенок, разумеется, ответить не может: его ведет некое смутное чувство, для описания которого в его языковом арсенале попросту нет слов. Что же касается взрослых, то они возмущаются, отчитывают и наказывают ребенка, но и они в бессилии разводят руками перед такого рода загадкой – «демон разрушения», и точка.

Однако если хорошенько подумать, кое-что понять в природе такого детского поведения все же можно.

Начнем с того, что устойчивость разрушительного импульса свидетельствует о некоем протесте. Но против чего может быть направлен этот протест?

 Обратим внимание: предметом разрушения оказываются исключительно механические, заводные игрушки. То есть такие, у которых есть некая заданная и весьма ограниченнная траектория поведения, некий четкий двигательный алгоритм, движение «от» и «до».

Думается, что здесь и находится ключ к пониманию данной загадки.

В самом деле, что такое механическая, заводная игрушка в жизни маленького ребенка? Взрослые почему-то просто обожают дарить такого рода игрушки детям: они кажутся забавными и увлекательными. Да и сам ребенок, видя такую игрушку впервые, воодушевляется: она движется, и это содержит в себе несомненную интригу - а может и вправду в такой игрушке есть реальная жизнь? И оттого каждая новая механическая игрушка первоначально вызывает у ребенка восторг. Но очень скоро обещание оказывается ложью: разумеется, никакой реальной жизни в этой игрушке нет, а есть красивая, блестящая фальшь. И даже волшебный фонарь фирмы Патэ оказывается бессовестным обманом: там тоже нет жизни, а все происходит в границах раз и навсегда определенного сценария. И это мучительно, невыносимо горько, Особенно горько - на фоне первоначального радостного ожидания и предощущения чуда.

А чудо оказывается фальшивкой. Пародией на жизнь.

И такому обману нет прощения.

Что-то просто разламывается и потрошится, а что-то приходится «обрабатывать тяжелым молотком» - как это происходит с волшебным фонарем. И рыдает ребенок при этом вовсе не потому, что горюет по сломанной игрушке - он оплакивает свою очередную рухнувшую надежду. Вот почему его горе так безутешно. Вот в чем природа того «отчаяния в сердце», с которым юный Станислав «превращает игрушки в хлам». А то ведь совсем не понятно: отчего он вчера разломал игрушку, безутешно ее оплакал, а сегодня, как ни в чем не бывало, разламывает новую - и снова безутешно плачет. Ну не беспросветно же он глуп, в самом деле, как недоумевают в этот момент его родители.

Да нет, совсем не глуп. Глупы взрослые, у которых подобное поведение ребенка вызывает праведный гнев и желание примерно наказать свое чадо. А ведь чадо просто честно сигнализирует окружающему миру: что-то с этими игрушками не так. Есть в них какой-то тайный порок.

В самом деле, любая обыкновенная, **не механическая** игрушка обретает в руках ребенка чудо настоящей жизни. Она не движется «из пункта А в пункт Б» по строго заданной траектории - она движется в **любом** направлении и совершает **любые** действия, которые волен определять ее обладатель. Ребенок интегрирует такую игрушку в пространство собственной жизни и наделяет ее душой, сознанием, волей. Она становится частью его самого и проекцией самых разных его потребностей и фантазий. С нею можно разговаривать, ей можно подсказывать, что делать, а чего не делать. Но как можно что-то подсказать механической игрушке, которая находится в ловушке заранее определенной ее создателем примитивной программы действий? С нею и играть-то, собственно говоря, нельзя, если мы понимаем под игрой сложный внутренний диалог ребенка с предметом, которым и с которым он играет. Поэтому в лучшем случае такая механическая игрушка почти сразу наскучивает и откладывается в сторону. В худшем - разламывается и уничтожается. Зато появляющиеся в результате такого рода протестной акции колесики, пружинки и прочие детали уже вполне могут стать предметом нормальной детской игры. Могут превращаться во все, что угодно и быть всем, чем угодно.

Но, таким образом, акт уничтожения ребенком механической игрушки - это вовсе не акт вандализма, но попытка ее **оживления**. Попытка вдохнуть жизнь в заведомо мертвое.

Пока в игрушке действует заводной механизм, она принадлежит этому заводному механизму, а не самой себе, т.е. не игровой фантазии ребенка. Пока в игрушке действует заводной механизм, в ней нет жизни, а только мертвая схема действий. И ребенок это безошибочно видит и пытается исправить. А путь исправления один: уничтожение самой механистической схемы.

Естественно, что ребенок не думает о своих действиях подобными словами. Он просто чувствует дискомфорт от встречи с механистичностью, которая не позволяет наделять игрушку душой и создавать для нее непредсказуемые траектории поведения. Заводная механическая игрушка - это словно живое существо, попавшее во власть злобной колдуньи. Вдумаемся только: что должен чувствовать маленький ребенок, которому предлагается каждый день наблюдать несчастного мельника, который таскает и таскает свои мешки с мукой, а они возвращаются обратно, и нет в этом сизифовом труде и замкнутом круге однообразных действий никакого просвета? По совести говоря, было бы страшно, если бы мир и вправду был устроен по такой схеме. И оттого совершаемый ребенком акт - это вовсе не акт вандализма, но акт освобождения. Акт освобождения чуда, акт освобождения жизни.

Конечно, ребенок ломает не только механические игрушки. Но только по отношению к механическим игрушкам его деятельность столь яростно целенаправленна. Все, что движется и издает звуки с помощью встроенных механизмов - все то, что является механической имитацией жизни - должно быть безусловно и безжалостно уничтожено в этом своем механическом качестве.

Зато совсем иные чувства пробуждает в маленьком Станиславе, например, кукла мужского пола по имени Вицюсь: *– «тощий паренек, полный опилок, рыжеватый блондин, которому я шил костюмы, башмаки и который болтался потом по квартире, пожалуй, до самой войны. Однажды в приступе неудержимой жажды познания я немного подраспорол его, но тут же зашил ему дырку в животе, а может, пришил оторванную руку, не помню. Я много беседовал с ним, но об этом мы никогда не вспоминали»*

Впрочем, по-настоящему живым, не фальшивым оказывается не только кукла Вицюсь.

В маленьком Станиславе Леме живет непоколебимая уверенность в том, что **любой** вроде как «мертвый» предмет на самом деле обладает глубинной, спрятанной от глаз обыкновенного наблюдателя жизнью. И тайна одухотворения, тайна оживления как бы мертвого предмета – это и есть самое интересное и самое важное, что только может быть на свете.

Что, в общем-то, чистая правда: процесс одухотворения механистичного мира, наполнения его живым дыханием очеловеченного существования – это, в сущности, и есть главное, что составляет саму суть человеческого существования и отличает человека от любого другого существа в мире. И открытие этой волшебной способности одухотворения, возможно, самое главное открытие, совершаемое ребенком в процессе его взросления, а в последующем – самое главное содержание того, что мы именуем «человеческой культурой», которая вся и есть по своей сути не что иное, как искусство одухотворения. Искусство обнаружения за внешней оболочкой культурных текстов или предметов того, что рождается только усилием твоей собственной души. Когда культурный предмет или культурный текст становится пространством **твоего** существования и даже рождения впервые. Именно так и происходит, когда мы открываем Пушкина и Шекспира, и вдруг обнаруживаем в хрестоматийно-безликих, казалось бы, строчках **опыт собственного бытия.** Опыт собственной души. Опыт собственного переживания. И мертвое неожиданно становится живым. И притом **твоим** **собственным** живым. Абсолютно уникальным и индивидуальным.

В чем и состоит подлинное чудо культуры.

Просто надо набраться терпения и дождаться момента, когда тот или иной культурный предмет или текст откроется тебе навстречу и создаст пространство жизни для твоей души. И открытие этого чуда культуры и чуда себя в культуре совершается ребенком в самом раннем возрасте. Когда ребенок не просто обнаруживает в окружающих его предметах заложенные там какие-то общекультурные значения и смыслы, не просто осуществляет какую-то культурную раскодировку, но насыщает эти предметы неким абсолютно личным, тайным для окружающих, и только самому ребенку ведомым знанием.

*«…Я верил, например, никому не признаваясь в этом, что мертвые предметы не менее, чем люди, ущербны, а, следовательно, и они могут страдать рассеянностью; и если запастись терпением, то их можно заставать врасплох, принуждать, в частности, к делению. Так, если, скажем, лежащий в шкафу перочинный ножичек забудет, где ему быть положено, то его удастся отыскать в совершенно ином месте – например, между книгами на полке; и тогда, попав в совершенно безвыходное положение и не будучи в состоянии выбраться из шкафа, он раздвоится и получится два одинаковых ножичка. Таким образом, я считал, что предметы подчиняются некоей логике неизбежности, они должны подчиняться определенным правилам, и лишь тот, кто отлично знал эти правила, мог добиться от этой якобы мертвой материи желаемых результатов. Долгое время немного бездумно, а немного и бессознательно я исповедовал эту религию – и не могу сказать, избавился ли я от нее окончательно и по сей день».*

Это же великая – открываемая именно детским сознанием! – истина: **истина** **чуда**.

Истина того, что мир наполнен не просто предметами, но автономно живущими душами, которые можно открыть, можно распознать, и с которыми можно вступить в диалог.

Истина того, что мир наполнен волшебством, и что только от самого человека зависит, способен ли он вступить в диалог с этим спрятанным в мире волшебством. То есть – открыть мир не с точки зрения того, что он есть «на самом деле», а с точки зрения того, чем этот мир **может быть**. Ведь именно в этом ракурсе раскрывается **глубинная** суть человека и человеческого отношения к миру. И именно с этой – мифологической, конечно же, но такой креативной! – веры в спрятанное в мире волшебство и начинается то, что мы называем человеческим познанием. Ведь познание мира – это вовсе не открытие предуготовленного кем-то учебного знания о мире, но открытие и создание такого знания, которое никем не предуготовлено и оттого сродни чуду.

Человек – это **существование** **возможного** и существование в возможности.

Человек – это существо, которое всегда больше того, что он на первый взгляд есть. Ведь человек проявляется в человеке именно тогда, когда он выходит за границы наличного, и именно в этом выходе за границы наличного бытия и состоит подлинная суть человека.

И, кстати сказать, важнейший признак живого – его несовершенство, «ущербность», **способность страдать.**

Истинное познание начинается с предположения о том, что мир наполнен страдающими и чувствующими сущностями - вот почему возникает желание вступить с этими сущностями в диалог. Начало познания – вовсе не холодный разум, но интрига и жажда волшебства. И оттого начало познания всегда глубоко человечно, а не утилитарно. И ребенок в своем развитии, равно как и все человечество устремляется в пучины познания вовсе не из желания разложить мир на сумму мертвых элементов, а из желания вступить в живой диалог с таинственными сущностями, скрывающимися за внешней оболочкой вещей. И оттого начало познания волшебно и диалогично. Начало познания – не желание «изучить» и препарировать, но желание найти нового собеседника и вступить с этим таинственным собеседником в диалог.

Человек живет не жаждой познания и исследования.

Человек живет **жаждой собеседничества.**

Жаждой встречи с живым, а не с мертвым.

И эта надежда на встречу с жизнью является одной из самых глубоких экзистенциальных потребностей человека.

**О парадоксах времени**

…Одна из самых трудных в детском опыте вещей - это постижение универсальной размерности времени. Той размерности, которая делает это время общим для всех.

Сама по себе идея общего для всех времени – странная, неестественная идея, если идти от опыта чувств и переживаний ребенка. Ведь исходно внутреннее время ребенка - это не то, что должно хоть каким-то образом согласовываться со временем других. Исходно внутреннее время - это не что иное, как количество и глубина событий, порождаемых детским наблюдением и фантазией, а так же интенсивность проживания того или иного внутреннего события.

Разумеется, в любой игре у ребенка есть «до» и «после», «прежде» и «потом». Любая игра - это некая последовательность разворачивающихся событий. И в этом смысле у любой игры есть внутреннее время. Но эта последовательность событий никак не соизмерима с каким-то внешним, универсальным ритмом. Этой последовательности событий не нужны «часы» с их способностью делить процесс на некие формально равные доли. Более того - эти внешние часы выглядят как заведомо абсурдный инструмент для внутреннего времени ребенка. Ведь внешние часы придуманы исключительно как инструмент согласования производимых людьми внешних действий. А ребенок живет исключительно в пространстве внутреннего времени. Того, которое растягивается или сжимается в зависимости от того, насколько интересно происходящее в процессе освоения мира или игре. И какой смысл говорить, что «прошёл час» или «прошли два часа», если за это время свершилась целая жизнь, да не одна, если за это время родилась целая вселенная ощущений и смыслов? И оттого «объективное» время, о котором все время говорят взрослые, воспринимается как *«враждебное чудовище, по-настоящему коварное и противное природе человека»*, пожирающее ежеминутно творимую в процессе освоения мира внутреннюю жизнь. Объективное время - это то, что не позволяет жить внутренним ритмом и внутренними событиями с той безусловной отдачей, которой они заслуживают. И оттого оно воистину *«противно природе человека»*, заставляя эту природу жить не по внутренним, а по внешним правилам.

А еще невыносимо трудно представить прошлое как то, чего будто бы **уже** нет, а будущее как то, чего будто бы **еще** нет. Во внутреннем опыте ребенка прошлое и будущее имеют ничуть не меньший статус **реального** существования, нежели так называемое «настоящее».

А в каком-то смысле даже и более значительный статус. Ведь прошлое, которое удерживается в памяти, – это по-настоящему значимое прошлое. Прошлое значимых чувств и значимых переживаний, а не просто каких-то абстрактно-внешних событий. Что касается будущего – то в ребенке оно присутствует как воображаемое будущее, мечтаемое и фантазируемое будущее, а, стало быть, внутренний статус **такого** будущего точно так же неизмеримо более значим, нежели статус настоящего.

И оттого утверждение, будто прошлого **уже** нет, а будущего **еще** нет, является в экзистенциально-психологическом опыте ребенка полной нелепостью.

Вот почему сочиняемая ребенком философия времени так существенно отличается от той, которая привычна для взрослых. Вот почему время во внутренних переживаниях маленького Станислава описывается как **категория пространства**. Не как то, что куда-то безвозвратно уходит, а как то, что постоянно находится рядом с тобой – как бы на соседнем этаже – и куда всегда можно по-соседски заглядывать в гости.

*«Прежде всего, в течение многих лет величайшие трудности для меня составляли попытки различить смысл таких понятий, как «завтра» и «вчера». Признаюсь – об этом я еще ни разу не говорил, – что оба эти понятия я достаточно долго помещал в пространстве. Я считал, что «завтра» располагается над потолком, как бы на следующем этаже, и опускается на нижний уровень ночью, когда все спят. (…) В то время я понимал, что, поднимаясь наверх, я не смогу застать «завтра» врасплох, так же как, спускаясь, не поймаю «вчера», так как под нами жили владельцы дома. Несмотря на это, я был все‑таки убежден, что «завтра» находится над нами, а «вчера» – под нами; причем это «вчера» отнюдь не растворилось в небытии, но продолжает существовать, выпотрошенное, где‑то там, под моими ногами. В этом образе было несомненное противоречие, но оно мне как‑то не мешало».*

Жизнь - это то, что существует «здесь и сейчас», а не то, что существовало в прошлом или откладывается на будущее. Следовательно, жизнь - вечна. Не в том эволюционистском смысле, что жизнь «была и будет», а в том, что она всегда есть - есть в момент твоей деятельности, есть в момент проживания тобой жизни. И, по совести говоря, ничего кроме этой проживаемой тобою «здесь и сейчас» жизни нет. Это начало - и это же конец времен. Потому что эта твоя жизнь наполняет тебя доверху, переполняет тебя и делает все, что находится за ее границами абсолютно несущественным (= не существующим). И, соответственно, нет и не может существовать никаких вопросов о смысле жизни - ее слишком много, этой самой настоящей внутренней жизни, чтобы задавать вопросы о ее смысле. И только когда начнет возникать дефицит этой внутренней жизни, когда жизнь начнет все больше и больше подчинять себя внешним правилам и внешнему времени, а, стало быть, начнет неумолимо ускользать, улетучиваться в своей органической и никому не принадлежащей самости, когда целостность внутренней жизни начнет все больше и больше ломаться и дырявиться внешними обстоятельствами и обязательствами, и когда естественное чувство целостности и органичности внутренней жизни уйдет, возникнет чувство мировоззренческого кризиса и начнется время вопросов о смысле жизни.

*«Итак, время в те годы было пучиной, недвижимой в себе самой, как бы инертной, неактивной. В нем, словно в море, происходило многое, но само оно как бы стояло. Каждый школьный час представлял собою что‑то вроде Атлантического океана, который требовалось переплыть с мужеством самоотречения в сердце, от звонка до звонка проходили насыщенные опасностями вечности; что же говорить о летних каникулах, которые превращались в целые эпохи. Об этой – немыслимой для меня теперь – пространности часов или дней я рассказываю так, словно бы я об этом от кого‑то услышал, а не так, будто познал это сам, – я не в состоянии этого ни уразуметь, ни представить».*

Такое ощущение времени возможно только тогда, когда внутреннее время абсолютно и безусловно превалирует над внешним. Когда интенсивность происходящей в тебе жизни и происходящего в тебе времени неизмеримо, на порядки, в сотни и тысячи раз превышает интенсивность внешнего времени и внешней событийности. Вот несомненный психологический исток идеи «потерянного рая» и «жизни вечной»: это опыт, прожитый в самоощущении каждого ребенка, и оттого таинственно близкий каждому человеку опыт.

*«Со временем все стало свершаться гораздо быстрее, и пусть не говорят мне, будто лгут ощущения, а часы отмеряют одинаковый ритм бега времени; я скажу, что все обстоит совсем наоборот: лгут часы, потому что физическое время не имеет ничего общего с биологическим. Какое нам дело – за пределами физики – до времени электронов или зубчатых колес? В этом разделении мне всегда чудился какой‑то подвох, я ощущал какую‑то низость, замаскированную методами времяисчисления, нивелирующими все изменения. Мы появляемся, полные веры, что все обстоит именно так, как мы видим, что делается то, о чем нам говорят наши органы чувств, а потом неизвестно, как и когда оказывается, что дети взрослеют, а взрослые начинают умирать».*

**О ценности нецелесообразного**

Только в детстве человек может быть так отчаянно нецелесообразен. Только в детстве он может жить так, будто жизнь и вправду вечна - поскольку жизнь и вправду вечна в его ощущении жизни. Только в детстве внутреннее проживание одного мгновения может превышать сколь угодно суровые внешние ограничители, создавать ту полноту жизни, которая не нуждается ни в каких размышлениях о смысле жизни. У взрослых такое случается только в экстремальных эмоциональных состояниях - например, в состоянии влюбленности. У ребенка такой эмоциональный экстремум постоянен: он остро влюблен в свою жизнь, остро влюблен во все, что он делает - естественно, когда это **он** делает, а не его заставляют делать. И тогда ледяная сосулька, свисающая с цилиндра паровоза, вдруг действительно оказывается значимей любых связанных с добыванием этой сосульки рисков.

*«Почему, будучи таким пугливым, я обожал рискованные ситуации? Что меня все время толкало по возможности дальше высунуться из окна? Я ведь хорошо знал, хотя бы благодаря истории с «человеком‑мухой», к чему может привести падение с третьего этажа. Я также помню, как напугал дядю, когда зимой во время каникул в Татарове неожиданно влез под паровоз, чтобы срочно отломить свисающую с цилиндра ледяную сосульку. Я ужасно боялся, что поезд тронется и отрежет мне ноги, но, видимо, эта сосулька была мне чрезвычайно нужна».*

Конечно же, нужна. Но не зачем-то, а сама по себе.

И бессмысленно спрашивать самого четырехлетнего ребенка, почему он, рискуя жизнью, полез за этой несчастной сосулькой.

Ну как почему? Да потому что сердце дрогнуло, и стало **очевидно**: без этой сосульки - не жить.

Потому что есть вещи, которые не нуждаются в объяснении.

Потому что «жизнь по воображению» неизмеримо значимей и существенней чем «жизнь по целесообразности». Но только в детстве чувствуешь это по-настоящему, как некую не требующую никаких дополнительных интерпретаций и объяснений очевидность. Потому что быть человеком – это и значит уметь совершать поступки, выводящие тебя за границы твоего наличного существования.

И здесь ничего невозможно объяснить, как невозможно объяснить любовь.

С точки зрения взрослых - безрассудство. С точки зрения ребенка - жизнь.

Только в детстве можно с одного взгляда влюбиться в сосульку - с такой стремительной, такой ошеломительной, с такой безрассудной силой. Только в детстве любовь на самом деле не знает преград, и предметом самой страстной любви может стать любой, самый неожиданный предмет, и, как в настоящей любви, не найти рациональных объяснений возникшей страсти.

И счастливы те взрослые, которые до старости сохраняют в себе эту удивительную способность к нецелесообразности, способность жить не «по понятиям», а по чувствам

Только в детстве человек не приспосабливается к жизни, а непрерывно ее творит. Не думает о том, «как надо», а идет за своим «так хочется!». И изобретает, изобретает, изобретает.

Взрослые даже предположить и представить себе не могут, как много и как непрерывно изобретает их ребенок. Его жизнь - сплошная изобретательская деятельность. И эта изобретательская деятельность может касаться всего, чего угодно.

*«Я пробовал не дышать, пока возможно, или же делать это как‑нибудь по‑особому, придумывая какие‑то совершенно необыкновенные вдохи и выдохи, особенно перед тем как заснуть; я как‑то хитроумно укладывал думки и подушки под голову, строил из одеяла какой‑то не то курятник, не то собачью конуру и так далее».*

И это отнюдь не только внешние эксперименты со своим телом или со своим ближайшим пространством. Это обязательно вообразительное, фантазийное проживание себя в моделируемых ситуациях. Не только дышать по-особому - но и проживать в этом особом дыхании особую жизнь; не только сочинять некое «жилище» из одеяла и подушек - но и проживать в этом жилище особую вообразительную жизнь. Это для взрослых ребенок «укладывается спать». Сам ребенок успевает прожить в эти минуты множество жизней.

*«Я лежал в постели, сложив руки на груди, – и вдруг кисти рук начинали расти, в то же время сам я делался совершенно маленьким под их неправдоподобно большим грузом; это повторялось всегда одинаково, кажется, и наяву. Кулаки вырастали до размеров воистину гигантских, пальцы превращались в какие‑то замкнутые горные цепи, все в них делалось слоноподобным, монструальным; я немного боялся этого, но опять же не особенно, это было очень странно – я об этом никому не говорил».*

 И не удивительно, что не говорил. Попробуй, скажи - и тут же найдется какой-нибудь ученый врач, который поставит диагноз вроде *«нарушения схемы строения тела»*.

Ну, так это для взрослых - нарушения. А для ребенка - удивительный, сказочный момент проживания своего тела как Вселенной. Захватывающие эксперименты воображения, когда тело, словно, не принадлежит тебе, а живет своей отдельной, фантасмагорической жизнью. Никакие аттракционы не сравнятся с силой возникающего в такой момент переживания!

И здесь же - тайна детского так называемого «безделья» и «ничегонеделанья».

Это взрослым кажется, что ребенок ничего не делает, и они всякий раз, заставая ребенка в расслабленном состоянии, готовы в очередной раз выразить свое беспокойство по поводу бесцельной траты времени.

Но для самого ребенка эти минуты, когда он не отягощен ничем внешним, возможно и являются самыми важными в жизни. Именно в эти минуты происходит что-то по-настоящему важное и глубинное. Потому что только в эти минуты ребенок по-настоящему **принадлежит себе.**

Не случайно львовский Высокий Замок становится для гимназиста-Лема метафорой рая. Ибо только там обреталось - хотя бы на час! - то блаженное состояние детства, когда ты никому ничего не должен, а просто растворяешься – растворяешься в небе, и растворяешься в неге ничегонеделанья.

*«…Тем, чем для христианина является рай, для каждого из нас был Высокий Замок. Туда ходили, когда из‑за непредвиденного отсутствия учителя пропадал какой-нибудь урок – одна из самых приятных неожиданностей, которыми изредка баловала нас судьба (…) Это, собственно, было даже не место, а некое идеальное состояние, по своей насыщенности сравнимое разве что с первым днем каникул – еще не затронутым, не надкушенным, при одной лишь мысли о котором сердце замирало от сладостного предчувствия, поскольку всему еще только предстояло случиться, а одновременно с этим появлялась склонность к расточению времени, разлившегося океаном на весь июнь и июль. Высокий же Замок открывался нам всего на один час, поэтому каждой минутой надлежало насытиться, испить ее до конца, заполнить откровенным бездельем, старательным ничегонеделанием; мы утопали в нем, позволяли ему нести себя, словно теплой реке под облачным небом, это не был погруженный в молитвы скромный христианский рай, а скорее нирвана – никаких искушений, желаний, – блаженство, существующее само по себе, даже наши глотки, охрипшие от крика на переменах, охватывало, видимо, это небесное дуновение, так как хоть мы немного и верещали, но больше по привычке, чем по необходимости».*

 Рай - это место, где человек принадлежит самому себе. Рай - это место, где человек свободен от целей - и потому по-настоящему свободен. Рай - это место, где ты живешь не ради завтрашнего дня, а просто живешь, потому что жизнь в настоящем самодостаточна и наполнена счастьем. Когда можно просто смотреть, и вбирать в себя мир, и испытывать от этого ни с чем не сравнимое блаженство.

Впрочем, кусочек рая, кусочек Высокого Замка всегда есть с тобой - всякий раз, когда ты позволяешь себе жизнь за пределами внешней целесообразности. Когда деятельность твоя самодостаточна и принадлежит тебе, а не твоему будущему. Когда ты делаешь что-то не ради достижения каких-то целей и решения каких-то задач, а просто потому, что тебе это нравится.

Например, когда лезешь под обледенелый бок паровоза - не из-за того, что в этом есть какая-то целесообразность, а просто за ошеломившей твое воображение сосулькой. Или когда карманы твоей гимназической формы набиты множеством абсолютно бессмысленных (с точки зрения взрослых), абсолютно нецелесообразных, но невероятно важных и значимых для тебя вещей - это тоже, конечно же, маленький кусочек рая, маленький кусочек Высокого Замка. Кусочек того великого **пространства нецелесообразности**, из которого только и происходит по-настоящему человек.

*«...Кроме мотков шнура (для морских узлов, а также на всякий случай), горсти особо любимых шурупов, перочинного ножичка, стерок, именуемых «радерками» (они исчезали на глазах, словно я их заглатывал), латунной цепочки от туалетного бачка, катушек, транспортира, небольшого циркуля (нужного не столько для геометрических построений, сколько для того, чтобы колоть сидевшего передо мной толстого З.), стеклянной пробирки от пилюль, наполненной превращенными в порошок спичечными головками (яд, а одновременно взрывчатое вещество), помутневшего от царапин увеличительного стекла, бумажника‑подковки с вечно раздутыми боками, а также тех плодов, которыми в данном сезоне снабжала нас природа (желуди, каштаны), половины резинки от «уйди‑уйди», непригодной, но тем не менее ценной, маленькой головоломки с передвигающимися квадратиками цифр, именуемой «пятнадцать», и еще одной, покрытой стеклышком, под которым катались три поросенка (это была игра на ловкость), я носил из дома в школу и из школы домой целую контору».*

Можно сколько угодно отчитывать ребенка: «Зачем ты носишь в карманах весь этот хлам?!» - он все равно будет все это носить, потому что это - его **внутренний** мир. Мир не функциональный, а смысловой. Потому что каждая такая вещица нагружена не прагматичностью, не утилитарностью - в первую очередь она нагружена неким трудно вербализуемым смыслом. И дело даже не в том, что она «может пригодиться» - дело в том, что в какой-то момент времени эта вещица была **выбрана** или даже **избрана** из множества других, а после - прикипела, приросла, обросла массой эмоционально-переживательных меток, и только ребенку ведомых смысловых подробностей. И оттого это множество **избранных** вещей, у которых есть, если угодно **экзистенциальное измерение.** У каждой из этих вещиц свое происхождение и своя история, и оттого каждая из них – носитель эмоциональной памяти о значимом для ребенка прошлом; она несет на себе множество эмоциональных меток-воспоминаний своего обладателя, и уже хотя бы из-за этой многослойной памяти ее просто невозможно выбросить. За каждой царапиной, за каждой потертостью - жизнь. И не просто жизнь каких-то внешних игр и событий, но прежде всего жизнь сопровождавших эти игры и события чувств.

 Для человека, который не прожил эту внутреннюю жизнь - это, конечно, всего лишь ненужный хлам. Но только не для обладателя этого «хлама». Для него это – именно свернутая жизнь, и притом не чья-то, а его собственная, известная только ему. Его мир, его история, его персональная культурная археология и его персональная территория культуры.

**О спасительности воображения**

Впрочем, самая главная жизнь ребенка - это по-прежнему не та внешняя событийная жизнь, что помечена сокровищами из его карманов, а жизнь вообразительная.

Она есть в каждом ребенке - жизнь пленительных или рискованных фантазий, жизнь воодушевляющих мечтаний. Правда, взрослые упорно называют эти мечтания «бесплодными», всячески пытаясь их обесценить; однако ребенок-то знает и чувствует, что именно эти «бесплодные» мечтания, о содержании которых, как правило, не известно никому, и есть самое главное, что есть в его жизни. Потому что в этих своих мечтаниях и фантазиях он подлинный демиург своей жизни; но не только своей - он поистине демиург вселенных. Вот почему деятельностью «сочинения миров» с неисчерпаемым энтузиазмом занимается любой взрослеющий ребенок всякий раз, когда ему удается ускользнуть из сетей внешней целесообразности.

 Однако чаще всего эта деятельность так и остается неведомой взрослому миру. Да и сам ребенок, становясь взрослым, постепенно забывает об этих придуманных его воображением (и чаще всего невербализованных) фантастических мирах. Потому что взрослое мироустройство вроде как не нуждается в этих детских фантазиях. А, значит, не нуждается в силе повседневного демиургического творения, предпочитая исчисляемое существования в границах «знания наперед».

Но можно ли такое существование назвать по-настоящему человеческим?

Если мы понимаем, что человек по своей сути не есть существо «данное» и «заданное», но есть существо становящееся и возможное, и что сущность человека – это не то, что ему принадлежит, а то, что в нем возникает и творится, и в каком-то смысле всегда находится «впереди», следует признать, что фантазирование и сочинительство есть фундаментальный механизм человеческого развития и самоосуществления.

А еще спасительный кокон воображения – это особого рода защита, позволяющая сохранить суверенность и подлинность «Я» по отношению к различного рода социальным испытаниям.

Как это происходит в вообразительном пространстве тринадцатилетнего Станислава Лема, который большую часть времени своих гимназических уроков использовал для создания некоего фантастического мира, основанного на абсолютной власти неких Удостоверений - удостоверений, делегирующих обитателям этого фантастического мира те или иные права и предоставляющие те или иные возможности.

Как подробен, как тщательно разработан, оказывается, этот вообразительный мир с его удостоверенческой топологией! Как тщательно прорисовывается его иерархия! Какие лихие закручиваются сюжеты! И все это поддерживается массой тщательно прорисованных бумажек, каждая из которых символизирует реального, состоящего из плоти и крови героя.

«*…Что это были за удостоверения? Самые разнообразные: дающие, например, определенные, более или менее ограниченные, территориальные права; я вручную печатал звания, титулы, специальные полномочия и привилегии, а на продолговатых бланках – различные виды чековых книжек и векселей, равносильных килограммам благородного металла, в основном платины и золота, либо квитанций на драгоценные камни. Изготовлял паспорта правителей, подтверждал подлинность императоров и монархов, придавал им сановников, канцлеров, из которых каждый по первому требованию мог предъявить документы, удостоверяющие его личность, в поте лица рисовал гербы, выписывал чрезвычайные пропуска, прилагал к ним полномочия; а поскольку я располагал массой времени, удостоверение явило мне скрывающуюся в нем пучину.*

*Я начал приносить в школу старые марки, переделывал их на штемпеля, снабжал документы печатями, складывающимися в целую иерархию, начиная от маленьких треугольных и четырехугольных и кончая самыми тайными, идеально круглыми, с символическим знаком в центре, один вид которого мог повергнуть на колени кого угодно. Войдя во вкус этой кропотливой и канительной работы, я начал выписывать разрешения на получение бриллиантов размером в человеческую голову; причем действительно зашел далеко, коль скоро снабжал удостоверения приложениями, приложения – дополнениями, проникая в сферу все более могущественной власти и даже туда, где действовали только уж секретные личные удостоверения, шифрованные, с системой паролей и символов, требующей особого кода; для некоторых документов были созданы специальные книжки, в которых раскрывалось их истинное, потрясающей силы значение; без этих книжечек указанные документы представляли собою всего лишь тетрадки нумерованных страничек, покрытых абсолютно непонятной каллиграфией.*

*…Изготовлял я и особые пропуска, тоже складывающиеся в прагматическую иерархию и дающие право прохода через Внешние ворота, Средние, а затем через Первые двери, Вторые, Третьи, опять же со специальными купончиками, отрываемыми стражей. Следующие же, все более внутренние проходы, тщательно охраняемые пассажи, вначале открыто называемые обыденным канцелярским языком, а потом известные только под шифрованными намеками, постепенно, но неизбежно приоткрывали проступающий из небытия контур, Дом домов, Замок невообразимо Высокий, с никогда не произнесенной, даже в приступе наивысшей смелости, не названной Тайной Центра, которой можно было бы, пройдя сквозь все двери, пороги и посты, предъявить свое удостоверение.*

*…Мне вспоминается книжечка‑удостоверение, специально изготовленная для инспектирующего посланника с чрезвычайными полномочиями. Каждый очередной бланк, выписанный карандашом иного цвета, расширял круг его правомочий. Я живо представлял себе, как он предъявляет самым низшим чинам первый листок Удостоверения‑Пропуска, этакий совсем обычный, с двумя треугольничками печатей, и ключники с некоторым промедлением начинают отодвигать перед ним засовы первых дверей; а вот он, слегка отвернувшись, вырывает второй листок – зеленый; и, увидев его, замрут офицеры; но тут он бросает на стол стражи третий листок и четвертый – белоснежный, с кровавой Главной печатью, и высшие офицеры вытягиваются в струнку, сдерживая дрожь в коленях, а он проходит мимо отдающих честь стражей к Высоким дверям, и тут уж сам генерал‑ключник еще секунду назад воплощение неприступности, в мундире, источающем золотое сияние, взопревший от служебного рвения, обеими руками настежь распахивает перед ним двери, так что лязг открываемого замка сливается с бриллиантовым звоном генеральских орденов, и, замерев, отдает честь – этот монументальный старец – блеском добытой в бою шпаги не особе, переступающей порог, а невзрачному корешку книжечки пропусков, которую Посланник небрежно держит в руке.*

*…Разве не щекотала нервы мысль об этом восхитительном аукционе Пропусков, об этом все возрастающем, по-гурмански отмеряемом могуществе абсолютно законных полномочий? Какая же магия скрывалась в Главной печати, которой никто – даже я сам! – не в состоянии был понять и разгадать, поскольку в центре ее стоял Знак, Тайный Сам в Себе, то есть Шифр Без Ключа, свидетельствующий без обиняков, что предъявитель сего является посланцем Неназываемого!*

*Уж не был ли он Инспектором, ниспосланным Творцом, экзекутором самого господа бога? Этого я не знаю. Он прибывал ниоткуда и – выполнив свою задачу – опять должен был уйти в ничто…»*

И вся эта метафизическая фантасмагория Удостоверений, эта изысканная пародия на социум, в котором достоинство человека определяется наличием у него некоей волшебной бумажки, целиком и полностью разыгрывается в голове тринадцатилетнего подростка, пытающегося примериться к миру, в котором функциональное доминирует над сущностным.

И воображение в очередной раз оказывается воистину спасительным.

*«Я вознесся на крыльях Удостоверений над серой юдолью и уже в свободном полете одним росчерком пера и прикосновением зубчатого колесика от будильника вырывал из небытия необъятные миры».*

В этих совершенно фантастических, не имеющих никакого отношения к прагматике жизни вообразительных мирах был несомненный вкус подлинности. На них падал «какой-то отсвет истины». В них была безусловная и абсолютная ценность - как ценность ледяной сосульки, как ценность карманного «хлама», как ценность Высокого замка, где можно приблизиться к небу и войти в состояние нирваны.

*«...Все было немножко так, будто, зная, что я не изготовляю настоящих документов, я одновременно чувствовал, что все‑таки какой‑то отсвет истины на них падает, что все это не полностью и абсолютно бессмысленно, хотя одновременно и является таковым – но только условно: ведь я знал, что за мои ассигнации никто не даст не только горсти рубинов, но и вообще ломаного гроша; однако если я не создавал этих звонких ценностей, то, может, изготовлял какие‑нибудь другие? Какие?»*

Еще одно пространство, в котором тринадцатилетний Лем безусловно и однозначно принадлежит себе.

Не урокам, не взрослым, не важным жизненным целям - а только самому себе.

Еще одна ипостась Высокого Замка свободы.